

Немеркнущая звезда

Часть четвёртая

A woman in a long, white, flowing dress with a high collar and long sleeves is sitting on a wooden bench in a garden. She is looking down and to her right. The garden is lush with greenery, including a large tree trunk behind her and various plants and flowers. The lighting is soft and natural, suggesting a late afternoon or early morning setting. In the bottom right corner, there is a circular icon with the text '18+'.

18+

А. С. Стрекалов

Александр Сергеевич Стрекалов

Немеркнущая звезда.

Часть четвёртая

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=51419646

SelfPub; 2020

ISBN 978-5-532-07374-6

Аннотация

Судьба молодого советского учёного, попавшего во второй половине 1980-х годов под каток “перестройки” и не пожелавшего вместе с товарищами по Университету навсегда покидать страну; наоборот – грудью вставшего на защиту Родины от марионеточной кремлёвской власти с Б.Н. Ельциным во главе и проигравшего схватку осенью 1993 года. Со всеми вытекающими отсюда лично для него печальными последствиями... На обложке: картина И.Н. Крамского «Лунная ночь» 1880 год.

Содержание

Глава 15	4
1	5
2	9
3	20
4	31
5	36
Конец ознакомительного фрагмента.	40

Глава 15

*«На последнем закате долголетнего дня
снова первая песня на устах у меня.
Расцветает под вечер, прежним светом горя,
та звезда, чьё сиянье отменила заря.
И тебе, не рассвету, благодарен стократ
я за первую песню, мой последний закат...»*
/Мигель де Унамуно (перевод С.Гончаренко)/

1

Удивительная штука – жизнь! Непостижимая, необъяснимая, несуразная, порою и вовсе нелепая и нелогичная, которую с какой стороны ни рассматривай и ни определяй – всё выходят одни парадоксы! Даже и на вроде бы примитивный и детский с виду вопрос однозначно ответить нельзя, а именно: жизнь – это отчаянная и целенаправленная битва за Небо, за Царство Божие, за Безсмертие? битва, безусловно, праведная и всеблагая, по единодушному мнению священников-богословов, от которой, может, и будет какой-то и когда-нибудь прок каждому в это верующему? Или же это лихая и утомительная, бессмысленная в целом гонка на выживание, в которой нет, и не было никогда победителей, в которой все – проигравшие, все – обманутые чудаки? К тому же, гонка эта очень опасная, нервная и достаточно трудоёмкая, скоротечно-стихийная и абсолютно непредсказуемая: пускай и с крохотными “радостями” по временам, “призами” чувственными и “удовольствиями”. Итогом которой, как ни крути, а всё равно является Смерть? За которой стоит Пустота, чёрная и абсолютно пустая Бездна?

А коли так, коли верно второе предположение по поводу итоговой чёрной бездны и пустоты, и суеты людской, абсолютно пустопорожней, о чём, между прочим, пророчили и пророчат многие великие деятели и мыслители – писате-

ли, философы и поэты, – то стоит ли поэтому так уж упорно цепляться и бороться за жизнь, беззаветно кого-то или что-то любить и ценить, к чему-то особенному стремиться наперекор инстинктам? Да ещё и мудрствовать и упираться при этом, храбрым воином или же всесильным героем-рыцарем себя почитать, вершителем и хозяином жизни! Жилы рвать до потери пульса, истерить, егозить и канючить при сборе призов и наград, подличать, ловчить, унижаться, интриговать, до стариковской немощи доживать, до ужасных смрадных болезней!

Или же всё-таки лучше однажды, окончательно выдохшись и устав, разочаровавшись в сомнительных “радостях” и “соблазнах”, в псевдо-геройстве собственном и псевдо-могуществе, в тщетности и иллюзорности бытия, – лучше уж “возвратить билет” Отцу-Вседержителю за ненадобностью, одним махом, как философ Ницше учил, покончить с пустым и бессмысленным существованием?

«Всё, хватит с меня, довольно! – решительно себе самому сказать. – Хватит бегать как дурачку за бесконечными призраками и миражами! Неблагодарное это занятие – птицу счастья ловить! Неблагодарное и пустое!...»

После чего пулю в себя пустить. Или же накинуть аркан на шею, с обрыва вниз головою броситься...

В детстве и отрочестве кажется, что нет нашей жизни конца, что она – беспечна как стрекоза, безмерна и вечна как

небо над головой, как и твои способности и возможности. В молодости, надорвавшись от бесконечных планов и дел, уже здорово от неё устаёшь и мечтаешь о пенсии, одиночестве и тишине, когда можно будет наконец-то выспаться и перевести дух, не думать о славе с карьерою, о деньгах и прибыли. В 30 лет одолевает семья с её нескончаемыми проблемами. И ты об одном лишь думаешь, одной заботой-мыслью живёшь: поскорей бы вырастить народившихся ребятишек, выучить их, бесенят желторотых, поставить на ноги и сбросить с плеч, попутно ещё и в дело полезное определить – чтобы не стали они, крохи малые и несмышлёные, изгоями в обществе, трутнями-отщепенцами, а тебе, старику, обузой.

А потом тебе вдруг однажды исполнится 40 – страшная дата для мужика: время подведения первых итогов. И ты понимаешь с ужасом, на прожитое с тоской и паникой глядя, что, напряжённо думая о других, о лестнице социальной и статусе, о желанных наградах с призами в виде дач и квартир, и больших-пребольших окладов, – про самого себя-то ты и забыл совсем, идиот. Как и про душу свою страдающую и мятущуюся, предназначение и талант, совесть, честь и достоинство... И лучшая половина жизни, оказывается, уже позади, и ничего-то ты в ней особого не достиг. И не достигнешь уже – ни времени, ни силёнок не хватит. Да и не позволит семья, опутавшая тебя крепкими социальными путями, ежедневно напоминающая о себе, властно просящая денег, бытовых удобств и внимания. Словом, понимаешь, что упу-

стиль ты, проворонил “птицу-Удачу”, о которой ещё недавно вроде бы так упорно грезил-мечтал, верил как в самого себя, и на которую всё поставил.

И ты, не исполнивший замысел Божий, профукавший или не угадавший его, на ерунду растратившийся понапрасну, на тихие радости и удовольствия, прочно связанные в сознании многих с комфортом семейным, достатком и связями, с престижной службой, шикарным жильём, столичным выгодным во все времена местожительством, – ты на глазах превращаешься в этакого закоренелого неудачника-ворчуна, пессимиста, брюзгу, шукшинского *«дятла тоскливого»*. Человека, для которого жизнь теряет всяческий аромат, становится серою и унылою как заброшенное село или давно непаханое колхозное поле.

Деморализованный и растерянный, с толку сбитый, ты мысленно, раз за разом начинаешь оглядываться назад и лихорадочно искать спасения в прошлом, безпрестанно копаться в нём, дни ушедшие вспоминать, много-много прожитых дней, пытаешься разобраться, отыскать оплошность, причину: где и когда ты позволил себе смалодушничать и оступить, веру с надеждой, светлый праведный путь утратить, которые терять не следовало? И почему вдруг ты, великий некогда труженик и мечтатель, пришёл к такому безрадостному финалу? Если не сказать – концу...

2

У Вадима Стеблова, во всяком случае, всё по схожему печальному сценарию и пошло – вся его вторая после-университетская половина жизни под такими вот мучительными вопросами протекала, которую уже и жизнью было называть нельзя по причине её хронической безтолковости и пустоты, и как у бомжа задрипанности. К 40-летнему почтенному возрасту он, до этого всё время к чему-то равный что есть мочи, всего себя отдававший мечте, грезивший быть на передовых рубежах бытия, на вершине славной советской науки, приблизился в самом безрадостном настроении – без работы, без будущего, без цели. А это – самый печальный для любого уважающего себя мужчины исход, самый что ни на есть критический.

Хорошо ещё, что у него работала в это тяжёлое в психологическом плане время жена, и был родной брат-бизнесмен, который ему, учёному трутню и неудачнику, помогал деньгами. Без регулярной денежной подпитки Стеблов и вовсе бы тогда зачах, сломался в два счёта, выродился. И как личность и как мужчина, глава семьи, кончился бы, если совсем не погиб, детишками и супругой выброшенный за порог за ненужностью.

А так, худо ли, бедно ли, но ещё можно было жить и терпеть, тянуть надоедливую житейскую лямку. И, одновремен-

но, не чувствовать себя полным ничтожеством и дерьмом, нахлебником-дармоедом столичным, не способным даже и себя прокормить, себе самому обеспечить достойное существование...

Чтобы развеять чёрные мысли, плотно засевшие в нём, и хоть как-то развлечься и успокоиться, от торгово-рыночной Москвы отдохнуть, при победивших Верховный Совет Ельцине и Лужкове окончательно превращённой в огромных размеров притон, в вертеп вседозволенности и разврата, Стеблов в середине 90-х годов начал часто ездить на родину, и подолгу гостить там в родном доме под опекой стареющих отца и матери, благо что отсутствие дел в институте это ему позволяло. А заботу о детях целиком и полностью взяли на себя тёща с женой, которым он, как помощник-домосед, был не нужен.

К тому же, у 65-летнего родителя его в это время обнаружили рак в брюшной полости. Брат однажды привёз уже пару лет как жаловавшегося на боли в правом боку отца в Москву на обследование в 67-ую горбольницу, где тому, после традиционного в таких случаях УЗИ, сразу же сделали операцию и вырезали средних размеров “сливу” из прямой кишки. Гистология показала рак 4-й степени, самый тяжёлый и неизлечимый. Отцу оставалось жить после такого диагноза не больше года: так утверждали врачи. После чего они прописали традиционную химиотерапию больному и отпустили

того домой – умирать. Ничего другого сделать они не могли – такая уж была у отца судьба, с тяжёлым концом и уходом связанная, со страшными болями под конец, от которых его спасали наркотиками.

Вот праздничношатающийся Вадим и возил регулярно родителям в Тульскую область ампулы для инъекций, которые дома уже местные лекари кололи смертельно-больному батюшке в вены и ягодицы, не то помогая ему, не то окончательно добивая. После уколов, во всяком случае, жить отцу точно уже не хотелось: так ему было лихо и тошно от пресловутой химиотерапии, которую врачи-онкологи, тем не менее, столько лет уже рекламируют и рекомендуют всем своим пациентам в качестве панацеи...

Итак, частенько мотаясь на родину все 90-е годы, живя там неделями под родительским кровом, уставшую душу и нервы леча и, одновременно, мысленно с батюшкой своим прощаясь, земная жизнь которого стремительно катилась к закату, который на глазах угасал, Вадим, не будучи сильно обременённый домашними делами, от которых его заботливо ограждала мать, ежедневно ходил гулять. Часами разгуливал по городу и по парку, а то и на отдалённые городские окраины забредал, хорошо знакомые ему ещё по прежним лыжным прогулкам или велосипедным заездам, по рыбалкам тем же, фруктово-яблоневым местам, надёжным поставщикам витаминов, – но которые теперь всякий раз стали по-

поражать его, москвичка, своими крохотными размерами. Поражать настолько, насколько могут поразить каждого одни лишь бывшие детские игрушки и вещи.

Несомненно, это был его родной город – святая и светлая колыбель Вадима, теплица родительская в виде гнезда-яслей в первый год, потом детсада и школы, – давший ему здоровье, образование и силы, поставивший его, сопляка-несмышлёныша, твёрдо на ноги, “на крыло”. Город, который он крепко-крепко любил и ценил, который прежде, естественно, знал отлично, изучил до самых дальних проулков как линии собственной руки или же родинки на теле. Всё в нём было до боли близкое, сокровенное и желанное, легкоузнаваемое даже и через столько лет; было его, если так можно выразиться, детско-отроческой “утробой”.

Его, безусловно, его! – и не его, одновременно! Ибо так тут всё за долгие годы отсутствия на удивление “сузилось” и “измельчало”, миниатюрным, комичным сделалось, почти что карикатурным. Ощущение Вадима во время прогулок всегда сопровождало такое, будто бы он в старую оцинкованную ванну раз за разом безуспешно пытался залезть, что теперь сиротливо висела в сарае на гвоздике, в которой всех их купала когда-то мать, и которая им тогда казалась огромной...

И другое его поражало на родине – люди, которых было очень мало повсюду. Особенно – молодёжи: город их выми-

рал. А те немногие, которые ещё попадались ему на глаза, которые на заработки в Москву не уехали, – те его тоже не сильно радовали при встречах, никаких чувств и интереса не возбуждали по одной лишь простой причине: он их совсем не знал и никогда прежде не видел. Все они, родившиеся и выросшие уже после него, были ему, коренному местному жителю, незнакомыми и чужими. Чужими настолько, будто он город свой перепутал и по ошибке куда-то не туда забрёл. И теперь вот ходил, ошалелый, – и всё удивлялся на перемены, беспрестанно тряс головой, тихо приговаривая при этом:

«Чудное что-то творится у нас! непонятное! неправдоподобное даже! Уже и словом обмолвиться не с кем стало на улице, приветственным кивком головы обменяться или же просто взглядом. Я становлюсь человек абсолютно ненужный и лишний, не интересный, не любый здесь никому».

Никогда не думал Вадим, не подозревал, что когда-нибудь будет возможно такое на его малой родине – полное равнодушие к людям, и разочарование от них!...

Раньше, помнится, было не так, всё по-другому было. Раньше, часами гуляя по центру – по улице Ленина той же, улице Коммунаров или Урицкого, по родной Луначарке, – он постоянно встречал знакомых себе людей, с которыми ему можно было либо просто поздороваться и разойтись, либо остановиться и поговорить по душам какое-то время. Либо же, на худой конец, обменяться цепкими взглядами и мыс-

ленно про себя подумать:

«О, это идёт знакомый отца, дядя Вася Шавырин, который нам сильно помог тем-то и тем-то когда-то»;

«а эта противная толстая баба, что стоит в очереди за хлебом и оборачивается на меня, недобро так щурится и косится, – сослуживица матери по фамилии Гапонюк, с которой матушка постоянно ругается на работе, которую на дух не переносит, и у которой один из сыновей – бандит»;

«а этот парень, идущий навстречу, Максимов Витька, кажется, – на соседней улице в собственном доме живёт, в котором недавно пожар случился; и там у них всё сгорело дотла, до последней табуретки; жалко»;

«а вон та девчонка, что возле подъезда лениво прогуливается... или же магазина... или возле киоска с кем-то болтает, – в параллельной школе или же классе учится, учится плохо, как говорят... или же учится хорошо... или уже кончила школу и замуж за такого-то парня вышла и родила... или уже развелась, с мужем в пух и прах разругавшись»...

И так далее, и так далее, и так далее. И всё встречи, и встречи, и взгляды цепкие, заинтересованные, и мысли, ими навеянные, которым не было конца...

Визуально в детстве и отрочестве он знал в своём городе почти всех – и взрослых, и ребятишек, – кто и где из них жил и учился, если это были дети, кем и на каком предприятии работал, если взрослые, кто какой социальный статус имел, авторитет и славу. И его самого, соответственно, все почти

знали, как и его семью. Кто-то – с хорошей стороны, кто-то – с плохой. Но – знали. Оттого-то город в те годы и казался родным – потому что основная масса народа в нём были его друзьями и недругами, родственниками, соседями дальними или ближними, или же просто знакомыми...

Теперь же, мотаясь по улицам и по парку, он не встречал ни единой знакомой живой души, с кем бы можно было остановиться и перемолвиться словом, молодость ушедшую вспомнить, школу четвёртую, прежних приятелей и учителей. Да про ту же политику вкратце поговорить, про судьбу несчастной страны, которая Стеблова так волновала-мучила все последние годы.

Но поговорить было решительно не с кем: город окутала какая-то мёртвая тишина с пустотой. Только одинокие пенсионеры иногда встречались ему по дороге – и тоже почему-то совсем-совсем незнакомые.

И соседей состарившихся и одиноких политика не интересовала ни грамма: все они пропадали на огородах и дачах сутками, думая лишь о том, как побогаче продуктами на зиму запастись и не умереть с голодухи. И родственники в лице дядей и тётъ были такие же тупые и аполитичные: ни о чём кроме сала, картошки и огурцов, да ещё заработков и профессий детей, двоюродных братьев и сестёр Вадима, при встречах говорить не желали. И своих одноклассников он не мог никого разыскать во время прогулок, как и парней и дев-

чат из параллельных классов не замечал вокруг: куда они все подевались?!

Не с кем, ну прямо-таки не с кем становилось ему встретиться и обняться по-дружески, перекинуться искренним добрым словом, вдвоём побродить по городу. Сходить пива того же выпить для куража в единственной пивной на вокзале, знакомые имена и фамилии из приятельских уст услышать, узнать последние городские новости-сплетни. Родителей в этом плане бесполезно было мучить-пытать: его одноклассников они если и встречали иногда где-то мельком, в магазине либо на базаре том же, то никогда с ними не останавливались и не разговаривали – только кивали головой в знак приветствия и поспешно уходили прочь. Оба и в молодости не болтливые люди были, не любопытные и не назойливые в плане дружб и знакомств. А под старость и вовсе ушли в себя, полностью на семье и собственных проблемах замкнулись.

И что ему, изнывавшему от одиночества и тоски, от привязчивых мыслей чёрных, было делать под родительским кровом, чтобы хоть чем-то занять себя? – кроме скучных семейных застолий с традиционной водкой и огурцами, с безпрестанными жалобами умирающего отца. Чтобы хоть как-то развеяться и развлечься? – кроме прогулок и чтения. И, одновременно, чтобы как следует встряхнуться и взбодрить себя, потерявшего цель и смысл бытия, проживши 25 лет в столице; чем-то по-настоящему важным и стоящим опять

увлечься, как это случилось в детстве. Воскресить себя, 40-летнего, увядающего вместе с отцом, и воодушевить, многократно укрепить, омолодить, успокоить; прежний настрой боевой вернуть, жажду и радость жизни. Вернуть всё то, одним словом, чем в былые юные годы он полон был до краёв как озеро после дождя, чем так среди родственников и друзей выделялся и славился?...

Но на родине сонной и загнивающей было тоскливо до жути, одиноко, пустынно и скучно, да ещё и холодно сердцу, словно на кладбище. Прежний его источник бодрости и оптимизма, как оказалось, здесь со временем обмелел, а потом и вовсе высох, иссяк, иссяк безвозвратно... И ничего уже не радовало Стеблова в родном доме, как прежде силою не подпитывало и не бодрило. Наоборот, здесь он ещё больше от одиночества паниковать и нервничать стал, киснуть и уставать от своей здесь никому ненужности.

Тишина городская, почти что могильная, угнетала его, здорово под остывавшим родительским кровом мучила. Он никогда и не думал прежде, не подозревал, что тишина почти абсолютная, первозданная, может быть тяжёлой и изматывающей такой, ужасно-надоедливой и противной...

«И как тут только люди годами целыми безвылазно живут и здравствуют, не понимаю? Даже и молодёжь! – всё ходил и удивлялся он, одуревавший от одиночества, от тишины. –

Как молодые парни и девушки, которые ещё здесь остались, которые иногда встречаются, от тоски и скуки тут у нас волком не воют? головами о стенку не бьются? на прохожих с кулаками и матом отчаянно не кидаются?!... Какие-то они тут всё-таки заторможенные и инфантильные все, словно бы малость дебилные или кастрированные. Чукчей напоминают внутренне, или тюленей, которых северный холод пробрал до костей и всё там у них внутри заморозил... Странно всё это, чудно и непостижимо для меня! необъяснимо с любой стороны! – такая их провинциальная предельно-заторможенная психология...»

«И ничегошеньки-то их тут, полусонных, не интересует совсем, не трогает, кроме сала, водки и похоти; ничто душу с сердцем не будоражит, не согревает: ни наука с искусством, с политикой той же, ни фильмы и книги, ни светские новости. Без чего мы, москвичи, уже и не мыслим себя; без чего, вероятно, и дня прожить не сумеем... А тут это всем до лампочки! до фонаря! Что за дикое и почти животное существование?!...»

В такие минуты невыносимо-горькие ему почему-то всегда гениальные строчки Некрасова вспоминались:

*“В столицах шум, гремят витии,
Кипит словесная война.
А там, во глубине России,*

Там вековая тишина”, -

которые он только тогда по-настоящему и оценил, в те именно годы. Любимый поэт будто бы из могилы поднялся и их времена и нравы словом рифмованным передал – как всегда очень образно, точно и ярко. Сто пятьдесят лет прошло ведь с тех пор, сто пятьдесят! А ничего в провинциальной России, в сущности, не изменилось...

Впрочем, если уж говорить строго и честно, то не всё было так мрачно и кисло на родине для Стеблова, и безнадежно, главное, как порой представлялось даже и ему самому; не всё на него наводило одно лишь уныние и тоску, грозившие обернуться отчаянием. Был у него под родительским кровом и один очень светлый момент – этакий Божий крохотный родничок, или живительная подпитка для сердца, которая и заставляла его ездить к родителям раз за разом и подолгу гостить там без жены и детей, преодолая все выше описанные душевные тяготы и неудобства. Всё это махом одним перевешивала Лариса Чарская, первая его любовь и самое яркое впечатление отрочества, которую он вспоминал сразу же, как только подъезжал к городу и знакомые пейзажи с волнением рассматривал за окном, столь милые и дорогие ему, как и сам родной Тульский край, школа четвертая, прежние друзья и родители. И внутренние видения те не тускнели с годами, не выветривались, не ослабевали; наоборот – были достаточно отчётливыми и яркими как алая кровь на снегу, или цветущий в пустыне кактус.

Чарская, если опять-таки строго и точно всё пытаться описывать, никогда насовсем из памяти его и не исчезала, из памяти и из души, – находилась там постоянно, словно штамп о прописке в паспорте, о группе крови и о женитьбе.

Просто в Москве, затираемая семьёй и работой, проблемами бесконечными и делами, наукой, космосом тем же, политической, она уходила далеко вглубь него, в самые глухие и недоступные кладовые сознания. И жила там тихонечко, словно мышка, не требуя для себя ничего, никакой мысленной и душевной пищи.

Но стоило только Вадиму приблизиться к городу детства и юности, к окраинным посёлкам его, как образ далёкой и милой некогда девушки из закровов памяти быстренько, словно пузырёк воздуха из воды, выбирался наружу. И тут же, помимо воли, заслонял собой всё: московскую семью и родителей, бывших школьных и иных друзей, институтских руководителей и приятелей-сослуживцев. Переехав же городскую черту – на электричке ли, на автобусе, на машине, – он уже о ней одной только и думал, только ею беспрестанно жил. Только её судьба, главным образом, его и интересовала дома.

«Где она? и что теперь с ней? – начинал сразу же напряжённо думать-гадать Вадим, милый некогда облик крепко держа в сознании. – Как сложилась её судьба, интересно? За мужем она, или нет? Если да – то за кого вышла? где живёт? и часто ли приезжает к родителям? Вспоминает ли, наконец, обо мне и о нашем школьном романе? и как вспоминает? – холодно и презрительно, или же с теплотой, с трепетом внутренним и благодарностью?...»

Эти и подобные им, наиострейшие и наиважнейшие для

него, вопросы мучили его всё то время, пока он находился в родном доме, разум, душу, нервы его терзали. И его нараставшее раздражение против родного города было и связано-то в первую очередь с тем, что именно на них он не мог получить ответов. Ни от кого... А другие вопросы и люди его на родине мало интересовали.

Он, безусловно, лукавил, обманывал самого себя, когда, часами разгуливая по обветшалым и узеньким улицам, нервничал и злился от того прискорбного факта, что уже не встречает-де он нигде прежних своих товарищей-одногодков, с которыми бы можно было обняться и поговорить, детские годы вспомнить, спорт и школу. Не особенно-то и хотелось ему, если сказать по правде, встречаться и обниматься с кем-то, притворный и пошлый восторг источать через столько-то лет. И потом стоять и лясы точить, сплетни собирать стародавние, просроченные, пересуды, до которых он, как и его домочадцы, не был большой охотник. Все так называемые товарищи для одного дела только и были ему нужны: чтобы, поболтав пять минут ни о чём – для приличия и проформы, потом подробно их расспросить про Чарскую, и хоть какую-то информацию про неё выведать, хоть даже и самую минимальную. Новую или же старую совсем – не важно! – которой он был бы бесконечно рад и которую ни от кого больше на родине получить не мог, невзирая на их крохотный вроде бы город. Где по обыкновению все про всех в подробностях всё знали; даже и то, чего в действительности

не было и не могло быть.

Эх! если б его родители или те же родственники, братья и сёстры двоюродные, хоть что-нибудь про судьбу Ларисы ему сообщили, – у него и не возникало б дома проблем. Как и не было б тяжести на душе, нервозности всё нарастающей.

Но родители с родственниками молчали и только плечами жали недоумённо, когда Вадим намёками и полунамёками их на эту тему тонкую и щекотливую выводил: судьба семьи прокурорских работников Чарских была им, простолюдинам, совсем-совсем неизвестна. Вот он и нервничал, вот и мотался часами по городу угорело, как мелкий воришка оглядываясь по сторонам, – всё товарищей старых высматривал и искал, её и своих одноклассников. Чтобы уже через них, пусть хотя бы заочно, встретиться опять с Ларисой, через расспросы и сплетни влезть в её новую жизнь и семью на правах старого друга...

Не удивительно, что ноги во время таких пустых и бесплодных прогулок сами собой неизменно выносили его на их городскую площадь, где когда-то жила-поживала его прелестная обожательница. Площадь, таким образом, сделалась последним пунктом всех утомительных городских хождений Стеблова, местом его поклонений и дум, или же новых великовозрастных любовных мистерий. Там он останавливался посередине и подолгу смотрел с замиранием сердца на четырёхэтажный кирпичный дом своей бывшей школьной зазно-

бы, гадая, где окна её, где балкон, надеясь в каком-нибудь окошке и её самую вдруг увидеть. Воспоминания прошлого плотным, густым, золотисто-розовым туманом окутывали его, центром которых являлась Чарская. И так ему хорошо, так сладко и томно в такие минуты было, так по-настоящему радостно и комфортно внутри, – что не хотелось с площади уходить. А хотелось стоять и трястись от волнения по полчаса, а то и по часу – и при этом тихо и незаметно молиться.

Дом возлюбленной, таким образом, превращался для него в Божий храм, а окна – в иконы самые светлые и душе-спасительные. В них он настойчиво, но безуспешно пытался разглядеть чарующий лик девушки, которую так горячо и страстно искал, с которой надеялся встретиться и поговорить, выяснить отношения и объясниться.

«Лариса, милая, где ты?! – стоял и шептал он восторженно одно и то же и в 20 далёких лет, когда ещё в Университете учился, и в 25, когда только-только аспирантуру закончил и молодым “кандидатом” стал, и в 30, когда, будучи старшим научным сотрудником престижного столичного НИИ, начал вдруг с ужасом понимать, что здорово ошибся с работой, и в 35, когда уже, став взрослым и солидным дядей, окончательно разочаровался в профессии и в жизни, когда с *перестройкой* всё потерял. – Родная! милая! чудная девочка! Отзовись! Подойди и выгляни в окошко, хоть на секунду выгляни! Так хочется на тебя взглянуть, дорогая, любимая и единственная! удостовериться, что ты жива и здорова – и успокоиться.

Мне это так важно теперь, поверь...»

«А лучше, на площадь погулять выйди, пожалуйста, – воздухом подышать. Чтобы я смог встретить и полюбоваться тобой как прежде, нервную дрожь в коленях и в животе почувствовать, слаще и пронзительнее которой, как оказалось, на свете и нет ничего, не бывает... Мне так теперь тебя не хватает, Ларис, так не хватает! Не передать! Твоего восторга всегдашнего и повышенного внимания, за которое всепременно хочется тебя поблагодарить, сказать тебе, наконец, что-нибудь очень доброе, нежное, ласковое; на колени хочется перед тобой упасть, родная, и за всё, за всё повиниться! Я очень виноват перед тобой, очень, девочка ты моя! Я это знаю, чувствую, помню. И мне, поверь, очень стыдно за прошлое: не заслужила ты с моей стороны такого к себе отношения, право-слово не заслужила...»

Тяжело сказать, что бы он сделал, появись вдруг Чарская перед ним в 30 или 35 лет, завидев, к примеру, его с балкона и выскочив ему на встречу. Но то что не убежал бы, как раньше, малодушно не спрятался от неё, покрывшись мурашками и холодным потом, – это-то уж точно... Скорее можно предположить, и это больше бы было похоже на правду, что не выдержал бы он бурного всплеска радости, внезапного счастья и диких сердечных чувств, навеянных долгой разлукой, эмоционально взорвался, потерял контроль над собой – и по-медвежьи сгрёб бы её в охапку прямо на площади, истосковавшийся и одичавший без прежней первой, высокой

и чистой любви, прижал бы к себе со всей страстью и силой – до хруста костей, до одури, до сладкого озноба по всему телу! – и не отпустил, не смог отпустить, не захотел бы...

И что тогда стало бы с ними, с его и её семьёй? как повлияла бы встреча на судьбы обоих? – про то одному только Богу было известно. И больше никому...

Может, поэтому – во избежание глупостей и катастроф – он и не встретил первую свою любовь ни разу, сколько бы ни приходил к её дому, сколько б ни ждал, начиная с 20-летнего возраста, сколько б мысленно ни звал её, ни заклинал хоть на миг объявиться...

Постояв какое-то время на площади перед домом Ларисы, с жаром и трепетом вспомнив её, всё такую же дорогую по-прежнему, любимую, милую и желанную, пожелав ей удачи и счастья, он, как ладаном окутанный воспоминаниями, до краёв напоённый ими, не спеша возвращался назад под родительский кров, неся в своём сердце трепещущем сладкий любовный восторг вперемешку с лёгкой досадой. Досадой оттого, главным образом, что опять он ничего про Чарскую не узнал... и саму её не увидел.

Дома же, уличив момент, когда родителей не было рядом, он всякий раз одну и ту же процедуру проделывал, которая у него превращалась в традицию, в ритуал. Волнуясь, подходил к телефону, доставал из-под него телефонный справочник и искал там фамилию девушки, которую давным-давно

ждал, которую чаял увидеть. Найдя фамилию Чарских и их четырёхзначный номер, он осторожно набирал его и, прижав пластмассовую мембрану к уху, с замиранием сердца слушал, кто ответит на другом конце провода, кто ему скажет “алло”.

Не передать, как он страстно мечтал, прямо-таки жаждал услышать голос Ларисы все эти долгие двадцать лет с момента их последней встречи, отчаянно на удачу надеясь. Он свято верил, ни сколько не сомневался в том, что если она вдруг возьмёт трубку, и он, ошалевший от радости, от восторга, представится ей и назначит свидание, – верил, что она непременно всё бросит и прибежит. Она не упустит такой возможности увидеться, поговорить, пообщаться. И они, предельно счастливые и влюблённые, какими и были оба начиная с седьмого класса, а на последнем школьном новогоднем балу – в особенности, они пойдут тогда бродить по родному городу как два самых близких и родных человека, по-детски обнявшись и крепко прижавшись друг к другу, без умолку про себя друг другу рассказывая.

Стеблову было что про себя рассказать – и в 25 юных лет, и в 30, и далее, когда его возраст к 40-летней почтенной отметке неумолимо стал приближаться, – отметке, когда, по идее, подводится первый итог. В 25 лет, помнится, ему очень хотелось похвастаться перед Чарской своей диссертацией, в которой он с блеском одну очень трудную и серьёзную математическую задачу решил, и которой поэтому очень гор-

дился. В 30 лет он бы ей непременно про свои всё возрастающие сомнения рассказал, про проблемы с работой, профессией, будущим... А уже в 35-ть, аккуратно после расстрела парламента, он бы перед ней поплакался с удовольствием, совета спросил у неё, душевной помощи и подсказки, а то и вовсе от навалившейся хандры моральной защиты. Он бы честно и откровенно поведал ей, утомлённый горемыка столичный, что теперешняя жизнь его, к глубокому стыду и прискорбию, как оторвавшийся от скалы камень стремительно катится под откос. И не за что ему, и не за кого, главное, теперь “на вершине горы” зацепиться.

Тяжело и совестно признаваться, но он даже и семье своей, жене и ребятишкам, становился в тягость, в обузу – потому что главную мужскую функцию почти перестал выполнять: добывание денег. А в ином другом качестве он им был не нужен, не интересен почти: они уже вполне могли обойтись и без него – и супруга Марина, и дети...

Но и с телефонной связью у него были одни сплошные разочарования на родине, когда он пытался соединиться с Чарской хотя бы посредством местного Телефонного Узла. Потому что на другом конце провода неизменно в течение двадцати лет слышался один и тот же грубый старческий голос, по-видимому – её матушки, всегда с неудовольствием, как казалось, спрашивавший: «кто говорит?»

Стеблов всякий раз после такого вопроса властного и

неприветливого, да ещё и предельно-жёсткого, волевого и безкомпромиссного на слух, робел и терялся, понимая, с кем разговаривает и на кого попал. Он хорошо помнил матушку Чарской ещё по школьным собраниям, и уже тогда сделал для себя неутешительный вывод, что это та именно дама, с которой не надо шутить, которая не понимает и не допускает шуток. Ни в каком виде.

От волнения у него спазмом перехватывало горло, дыхание прерывалось, и он, онемевший, быстро опускал трубку, покрываясь краской стыда.

«Вот, чёрт возьми! – с досадой выдыхал он... и добавлял через паузу. – Никак её, старую, не объедешь»...

Но бывало, что он осмеливался, находил силы и нервно выдавливал в трубку писклявое: «Здравствуйте! Ларису попросите, пожалуйста, к телефону», – после чего с замиранием сердца ждал, что ему на это ответят.

На другом конце линии возникала пауза, после чего следовал осторожный вопрос, уже не такой холодный и грубый: «А кто её спрашивает?»

«Её одноклассник», – быстро отвечал Вадим.

«Какой? – следовал законный вопрос. – Как твоя фамилия?»

Фамилий одноклассников Чарской Стеблов не помнил, не знал – не нужны они ему были сто лет, как в таких случаях говорится. Поэтому-то опять, чтобы враньём не злить суровую родительницу девушки, ему приходилось бросать труб-

ку, ничего от матушки не узнав, ничего полезного не добившись.

Называть же себя самого, прямым текстом, он категорически не желал: почему-то уверен был, что мать Ларисы, безусловно отлично всё знавшая про него и про дочь, грубо отчитает его за прошлое, наговорит ему кучу гадостей, а потом куда подальше пошлёт...

А уже в следующий свой приезд он опять угорело носился по городу в надежде встретить первую свою любовь; и потом, не встретив её, звонил ей по телефону в надежде установить с ней связь, услышать желанный голос.

Но трубку упорно брала её мать, Вероника Натановна, будто бы оберегавшая свою великовозрастную кровиночку от нежелательных для неё встреч и контактов. И Вадим опять оставался ни с чем – с одной лишь досадою и разочарованием, которые он от бессилия перекидывал на город родной, на родителей, родственников и друзей. Людей, которые, в сущности, были не виноваты.

И длилось такое его чудачество, или же за утерянным счастьем погоня, за юношеским чувственным раем, который он по дурасти молодой потерял, около двадцати лет, повторимся. До тех пор, фактически, покуда смертельная болезнь отца не остановила эту его пустопорожнюю и утомительную любовную карусель, у которой конца и края не было видно...

4

Случилось же это вот как: опишем по-возможности точно и максимально-полно этот наиважнейший для нашего героя момент, из-за чего, собственно, и затевалась вся эта длинная и печальная в целом повесть.

В начале октября 1997 года Стеблов с братом приехали навестить отца, которому жить оставалось совсем немного, которого рак пожирал на корню, безо всякой пощады и жалости. Приехали они в пятницу ближе к вечеру, всю субботу намеревались погостить у родителей, чтобы хоть как-то поддержать и подбодрить их обоих, измучившуюся мать – в особенности; а в воскресенье утром пораньше они планировали уехать обратно в Москву, от горя и смерти подальше. Настроение в семье было самым что ни на есть тягостным и упадническим, разумеется, не таким, как в прежние времена, когда все собирались вместе. И долго находиться в доме рядом со смертельно-больным батюшкой детям его было очень и очень трудно. Психологически, в первую очередь... Поэтому-то братья Стебловы так торопились оба поскорее покинуть родительский дом, становившийся ужасно холодным и негостеприимным.

По приезде они все четверо тихо посидели за кухонным столом, из-за которого наполовину живой отец, впрочем, быстро вылез, фактически не притронувшись ни к чему – ни

к колбасе московской, ни к огурцам, ни к водке. Организм его умирающий всякую пищу уже отвергал, не имея сил и возможности усваивать и переработать её, да и желания – тоже.

Сыновьям и супруге больного также особенно есть и пить не хотелось. Какая еда и питьё в такой удручающей атмосфере, при смертельно-больном человеке, когда никакой кусок в рот не лез, вызывал одну лишь изжогу и несварение...

Итак, посидев после ужина на кухне какое-то время, полушрёпотом с матушкой поговорив, рассказав ей все последние семейные новости, про сестрёнкину жизнь вкратце упомянув, что Антонине Николаевне было крайне важно и интересно услышать, понурые братья разделись и легли после этого спать на приготовленные им постели, томимые горькими ожиданиями. Оба долго вертелись, заснуть всё никак не могли в домашней тягостной обстановке, когда суровая старуха-Смерть уже кружила вороном над их шумным некогда домом, всё сужая и сужая круги, и при этом грозно и неотвратимо размахивая острой, как бритва, косой, наводя страх на домашних испуганных обитателей. Стебловы кожей ощущали её леденящее душу присутствие, и уже даже слышали краем уха ужасающий свист её сверкающей стальной косы. Отчего мурашки самопроизвольно бегали по коже у каждого, и становилось по-настоящему страшно. Так, будто коса может по ошибке и их зацепить – и утащить потом, иссечён-

ных, в Царство мёртвых...

В субботу утром братья проснулись разбитые и больные в районе девяти часов, позавтракали без удовольствия, сделали отцу укол «Трамала» в вену; потом пошли по городу погулять, подышать воздухом, и вернулись ближе к обеду. Пообедали, сделали отцу ещё один обезболивающий укол, к которым (наркотикам) батюшка быстро стал привыкать, без которых уже не мог выносить боли.

После этого брат Вадима с матушкой решили сходить в церковь, помолиться за тяжелобольного родителя и мужа, попросить ему лёгкой смерти. Вадима оставили дома: смотреть за отцом и дожидаться их, обещавших быстро вернуться.

Когда они ушли, отец дремал в большой комнате на диване, здорово исхудавший, седой, беспомощный и несчастный, измученный постоянными болями. Вадим же тихо принялся расхаживать взад-вперёд по опустевшей квартире, не зная, чем заняться ему одному, как убить время.

Читать ничего не хотелось, ни газеты, ни книги; телевизор и радио включать было нельзя. Вот он и слонялся по кухне и комнатам из конца в конец в ожидании брата и матушки, которые долго не возвращались.

Единственным его развлечением были окна, к которым он без конца подходил, возле которых подолгу задерживался – искал глазами соседей или бывших детских друзей, чтобы

хоть так развлечься и отвлечься.

Но шумная некогда улица их опустела и обезлюдела совершенно, вымерла будто бы после стихийного бедствия или чумы: не видно было через оконное стекло и штору ни единой живой души. Только из калитки частного дома напротив то и дело показывалась лысая голова постаревшего и погрузневшего соседа Орликова, 70-летнего гонористого мужика, их местного “токаря-интеллигента” или “кандидата рабочих наук” – как соседи его за глаза звали за напускную важность. С его дочерьми Вадим когда-то учился в 4-ой школе и даже какое-то время общался, дружбу водил. Особенно со старшей – Ольгой, холёной, статной девахой по молодости, которой, впрочем, не повезло с замужеством: так старой девою и жила, горе горькое мыкала.

Этот хитрющий и скользкий мужик, дядя Толя Орликов, помнится, вечно над всеми подсмеивался и подтрунивал, имея торговку-жену, оборотистую бабу-хохлушку, которая всё на свете достать умела, в любую щелку пролезть. Из-за неё и он сам поднялся, заважничал, заматерел – и за дураков всех начал считать, за недотёп-неудачников. По этой причине отец Вадима его на дух не переносил, часто и не здоровался даже, не замечал... А после того, как вышел на пенсию, этот ядовитый дядька начал активно гнать и торговать самогонкой, сколачивать на винном промысле капитал. И поэтому целыми днями торчал на улице возле своей калитки – наподобие проституток, которые клиентов ждут. Вот и он

подобным же наглым образом алкашей-простаков всё стоял поджидал с мутной зловонной жидкостью наготове. И неплохо наживался на этом все 90-е годы, судя по его же словам, что доходили до соседей от его городских родственников...

Устав стоять у окна и прожжённого сквалыгу и барыгу Орликова через стекло лицезреть, ловко проворачивавшего на глазах у всех тёмные воровские делишки, опаивавшего своих земляков по сути, сознательно обиравшего и убивавшего их, Вадим подходил к дивану, садился возле него на стул и подолгу сидел и смотрел на тяжело дышавшего в забытьи отца, худое, измождённое лицо которого было покрыто большими розовыми пятнами.

Господи! как ему было жалко умирающего батюшку своего, больного, несчастного, обессиленного, каким отец прежде никогда не был, не желал быть, каким Вадим его сроду не помнил. Наоборот, он знал и помнил отца всегда волевым, решительным, предельно-отчаянным человеком, таким сорвиголовой, готовым ради семьи на всё, на любые самые невероятные подвиги и поступки, любые со своей стороны жертвы. Ради жены и детишек отец горы мог своротить. И он их действительно воротил: он достиг к своим 67-ми годам практически невозможного.

И это всё не пустые слова, не красочный вымысел напоследок – для утешения умирающему. Разве ж это не подвиг был с его стороны, если, имея всего-то четыре класса образования и ташкентское ремесленное училище за плечами, косноязычный малограмотный отец отвечал, в итоге, за энерго-

снабжение всего их города. Работал старшим мастером долгие годы, а потом и вовсе начальником участка в Горэлектросети, третьим человеком по значимости после директора и главного инженера, с мнением и приказами которого обязаны были считаться все работники их немаленького коллектива. И, соответственно, в подчинении у которого были десятки электриков, бригадиров и мастеров, несколько спецмашин, были даже и инженера из лаборатории. Люди все с высшим и техническим образованием то есть, с “корочками”-дипломами на руках, что при советской власти просто обязаны были бы дать им пропуск к командным должностям и большим окладам. Но вот, однако ж, не дали.

Отец им дорогу перегородил, закрыл собой путь наверх крепко-накрепко. Именно он, необразованный лапотник Стеблов Сергей Дмитриевич, глухая деревенщина и безотцовщина, “лимита” по городским меркам, “хлыщ залётный” и безпорточный, у которого никогда не было блата в городе, “мохнатой руки” и поддержки родственной, – именно он и руководил ими всеми, а не они им. Потому что горел на работе, и готов был пахать день и ночь. Потому что дело своё знал как никто другой, и был некапризным и безотказным. Даже и ночью могли его разбудить – и будили! – и он поднимался с постели и ехал на вызов. И не ныл никогда, претензий и условий не предъявлял, не просил потом себе внеурочные выплаты и отгулы.

И начальство это ценило, держало его наверху, не перево-

дило в простые электрики, в разнорабочие – тем более. Про это даже и речи ни разу не шло: никогда отец не боялся за свою работу и должность, не заводил в семье разговоров на эту тему – настолько у него в электросети всё было прочно, надёжно и предсказуемо...

Вадим хорошо помнил, как в детстве во время самых страшных и разрушительных ливней, штормов и гроз, когда кирпичные стены их дома дрожали словно фанерные, и хотелось куда-нибудь спрятаться побыстрее, в подвал от страха залезть, в глубокое подполье, а электрические провода на столбах когда рвались как нитки, – как в это жуткое и смертоносное, поистине апокалипсическое время их ответственный и трудолюбивый отец всегда добровольно, не дожидаясь звонка, поднимался с тёплой постели, разбуженный грохотом грома, и обречённо говорил домочадцам, обхватив ладонями голову:

«Ну что, надо мне одеваться, ребята, и собираться на выход. Чего лежать и тянуть? Перед “смертью”, как говорят, не надышишься... Сейчас ведь позвонят, паразиты, и приедут за мной. Как пить дать приедут: тянуть и жалеть не будут. Половина города уже, небось, без света сидит из-за оборванных проводов. И никому до этого в нашей электросети дела нету».

Через какое-то время в квартире Стебловых действительно раздавался телефонный звонок: дежурный диспетчер со-

общал отцу про аварию и непогоду, про обрыв проводов или выход из строя трансформаторов в электроподстанциях; и, как итог, про уже выехавшую за ним аварийку.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.